

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАЗУМА В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ, или СМОТРЕНИЕ ПРОТИВ ЧТЕНИЯ

С.Е. Вершинин



Вершинин Сергей Евгеньевич
доктор философских наук,
профессор,
ведущий научный сотрудник
Института философии
и права УрО РАН

Судьба разума в меняющемся обществе — вечная тема для философии и социологии, гарантирующая их существование в любой исторической ситуации. Тем более это справедливо для постсоветского общества. Происходящие в массовом сознании изменения получают, как правило, очень резкие оценки — от «дебилизации» населения до «торжества свободы» индивида. Негативные оценки сопровождаются нарастающим чувством ностальгии, и эта ностальгия представляет собой серьезный теоретический вызов для отечественных философов и социологов. Этот вызов может быть сформулирован как вопрос о качественной природе трансформации массового сознания, об утратах и обретениях постсоветского информационного общества. Я затрону лишь один аспект, который мне представляется важным — о соотношении вербального и визуального в советском и постсоветском обществе.

1. Советское общество

Существенным признаком советской культуры является доминирование вербального начала. Культивирование сакрального характера различного рода письменных текстов (от «Краткого курса» до всякого рода служебных инструкций и отчетов) влекло за собой повышение статуса чтения до существенной социально-культурной ценности.¹ Это касалось не только политико-идеологической сферы, но и промышленного производства, торговли, отдыха и т.д., не говоря уже об образовании и социализации

молодежи. Фиксирование всей информации на том, что последующая эпоха презрительно назовет «бумагоносителями», означало доминирование письменного текста в культуре и опосредование любого взаимодействия людей в обществе с помощью именно такого рода текстов.

Однако сама процедура чтения письменного текста требовала развития и культивирования различного рода логических операций (анализа и синтеза, индукции и дедукции, различения сущности и явления и т.д.), специфика которых требует более подробного рассмотрения.

Если рассматривать письменный текст в рамках психолингвистической парадигмы², то можно выделить, в самом общем виде, следующие его особенности: взаимосвязанность всех элементов, в силу этого наличие определенной целостности и структуры; заданность определенного смысла, т.е. наличие некоей авторской установки и позиции; каноничность, т.е. наличие хотя бы некоторого смысла, считающегося при определенных условиях основным. «Во всяком тексте, если он относительно закончен и последователен, высказана одна основная мысль, один тезис, одно положение».³

Структурные особенности текста обуславливают и характер движения по нему читателя. Текст представляет собой — как некое целое — загадку для читателя, он оказывает — в силу своей сложности и иерархичности — сопротивление читателю, и потому требует активных усилий по вхождению в текст.

Эта активность носит, во-первых, дизъюнктивный характер: чтобы понять смысл текста, читающий, обладая определенным предпониманием, разделяет весь массив слов на существительные и прилагательные, подлежащие и сказуемые, местоимения и т.д., на главы и параграфы, «куски» и разделы...

Во-вторых, аналитическая деятельность сопровождается активностью синтеза. Если чтение — это движение по кругу, от начала текста к его концу, возвращение к началу и т.д., оно возможно только при наличии неких условий, включающих в себя как работу воображения, так и памяти, обеспечивающей последовательность и связность восприятия. Удержание и сопоставление информации, содержащейся в начале, середине и конце текста требует определенного времени... Чтение текста изначально не может быть одномоментным, рассчитанным на одно мгновение — здесь предполагается наличие у читателя определенных временных ресурсов.

В-третьих, если текст не является самоочевидным, то закономерно возникает предположение о наличии некоего скрытого и — в определенных ситуациях — самодостаточного смысла, требующее определенных усилий по проникновению в этот смысл.

Этот смысл имел нормативно-авторитарный характер, независимо от того, каков был текст — гуманитарный или естественнонаучный, ибо сциентизм сыграл свою роль в поддержании монологической установки... Смысл часто отождествлялся с истиной, что исключало иные интерпретации. Читатель должен был следовать за автором, тем самым чтение оказывало дисциплинирующее воздействие на читателя-истолкователя.⁴

Подобный культурно-гносеологический статус смысла позволяет лучше понять утверждение о том, что чтение письменного текста — это определенный труд, особенно так называемое «грамотное» чтение... Отсюда и необходимость специальных толкователей, которые в советском обществе приобретали статус экспертов — в форме политинформаторов, философов, «знатоков» и т.д. Фигура эксперта была тесно связана с письменным текстом — он и писал тексты, и удостоверял их, и поклонялся им. Таким образом, существовавшее доверие к экспертам (к власти, социальным институтам и т.д.) было косвенным образом доверием к письменному тексту и наоборот. В целом можно говорить о восприятии социальной действительности через письменный текст и как текст.⁵

Каковы же следствия вышеописанной культурно-исторической ситуации?

Скрытый или явный смысл письменного текста оказывался, по крайней мере, в советской идеологизированной культуре, очень часто готовым и законченным. Эта готовность-завершенность обнаруживалась не только в идеологической и политической сферах как методологический императив поведения, но также в естественно-научном и социальном познании как требование обнаружения определенных законов и следования им. В целом, если пытаться делать некие философские обобщения, это означало ориентацию, во-первых, на прошлое, во-вторых, на готовое прошлое.⁶

Данное обобщение легитимировало существование письменного текста с его готовой структурой и смыслом. Сам мир в своей глубинной сущности понимался как завершенный, что совпадало с основными интенциями философии Платона.⁷ Но если допускаются некие скрытые и готовые сущности в виде идей и законов, то чем это не своеобразный советский платонизм, существовавший в массовом сознании?⁸

Проблема соотношения визуального и вербального в советской культуре решалась в пользу вербального. Это было заметно как в сфере политики, так и образования, изобразительного искусства, архитектуры.⁹ Максимум, на что мог претендовать визуальный образ — это быть комментарием к какому-либо письменному тексту, идее или лозунгу. Визуальная культура существовала в самых разнообразных формах, но она носила иллюстративный характер, проясняя, конкретизируя, дополняя какие-либо политические идеи и культурные ценности.

Более того, в политическом массовом сознании присутствовал антивизуальный пафос — в том смысле, что любой образ подвергался проверке на соответствие определенной идее или принципу. Этот пафос существовал в рамках политической герменевтики недоверия как искусства обнаруживать в различных вещах и событиях, а в нашем случае — в зрительных образах — некие знаки (символы), свидетельствующие об их «истинной» природе.¹⁰

Господство вербального, прежде всего в письменной форме, — это, при соблюдении идеологической или научной строгости, опора на

жестко определенные значения и правила, принципы, это железная дорога канона, а не произвольность демократического духа вариации... Если есть жестко заданная система идеологических координат, то необходимо производить операцию по вписыванию того или иного явления в эту систему координат. Это требует определенной степени абстракции, умения классифицировать, т.е. анализировать и синтезировать по каким-либо признакам или системам признаков.

Тем самым структура чтения и структура идеологической ориентации совпадали, и чтение оказывалось в данном аспекте некоей «тоталитарной» практикой.¹¹ Однако из этого тезиса можно сделать и обратные выводы. Так, например, можно предположить, что работа с идеологическими и философскими текстами в системе партийного просвещения, охватывавшей достаточно широкие слои населения, обладала всем известными недостатками, но сохраняла определенный уровень теоретической спекуляции. Тем самым она способствовала развитию абстрактного мышления, пусть и в причудливой исторической форме, в достаточно широких слоях населения.

II. Постсоветское общество

Кризис советского общества означал, в частности, отрицание массовым сознанием советской культуры и ее основных ценностей, в том числе и чтения. Отрицание вербальности происходило в самых разнообразных формах. В рассматриваемом нами аспекте оно привело к акцентированию тактильности и визуальности.

Усиление визуализации в западной цивилизации связано с глобализацией мира, усилением интенсивности разнообразных контактов в экономике, политике, культуре, потребностью в быстром взаимопонимании и взаимодействии.

Нарастание тенденции к визуализации в современном мире означает смену акцентов в процессе познания:

Во-первых, визуальный образ не требует различения частного и общего, ибо он выдает частное за общее. «У образов есть, так сказать, платонизирующая сила: они преобразуют частные идеи в общее».¹² Есть логика индукции и логика восприятия зрительного образа. Этот образ снимает движение умозаключения и дает сразу обобщенное представление... В таком визуальном разуме вместо дизъюнктивности, расчленения на определенные сегменты появляется синкретичность, гештальт. Визуальный образ в этом аспекте более убедителен, ему труднее противостоять, чем слову, и потому он «усыпляет» критичность мышления.

Во-вторых, в визуальном образе нет, как в тексте, некоего «канонического» глубинного смысла, который следует обнаружить — ведь возможно множество толкований, и потому поиски сущности становятся излишними. Если в тексте буква тянется к букве, а сказуемое к подлежащему и т.д., то образ, который тоже может быть внутри себя дифференцированным, не задает такой однозначной жесткости истолкования. Русский текст требует, прежде всего, понимания на русском языке, а не на английском, в то время как образ является по своей природе космополитическим, даже если первоначальное восприятие наталкивается на некие трудности. Визуальность легко перешагивает любые социальные и культурные границы и потому становится всепроникающей и легкодоступной. Она становится универсальной, ибо опирается на универсальные — в смысле глобального распространения по земному шару — технологии как в сфере производства, так и потребления. Так начинает возникать некий

универсальный язык, опирающийся прежде всего на технические нововведения, что особенно заметно на примере компьютерных технологий. И так возникает противоречие между этим новым универсальным визуальным языком, опирающимся прежде всего на технологические достижения, и национальным языком, вплетенным в национальную культуру, до сих пор в значительной степени являющуюся письменной.

В-третьих, визуальный образ открывает перспективы будущего — в нем может и не быть жесткой привязки к прошлому, он одномоментен и может быть быстро сменен на другой образ. Время восприятия сокращается, и к такому образу не требуется столь долгой «привязки», как к письменному тексту. Но это значит, что и отношение к образу становится очень кратким, часто не требующим и не допускающим размышлений.

В-четвертых, влечение к визуальности можно рассматривать и как реакцию на доминирование канонической письменности. Это бунт против письменного текста, освобождение от него, понимаемое как общее освобождение... Эта новая свобода проявляется, в частности, в интерактивности новых технологий обучения и развлечения. В то же время, визуальная культура стирает границы между различными жанрами письменных текстов, существовавшие в советском обществе. Она охотно использует архетипические, мифологические сюжеты и образы, преодолевает разделение на детскую и взрослую культуру.¹²

Какие же выводы можно сделать из неуклонного наступления визуализации в постсоветском обществе?

1. Смотрение вместо чтения — это демократическое требование в процессе преодоления советского прошлого — превращает абстрактное мышление в рудимент XX века. Инструментальный разум, опирающийся на текст, пасует перед коммуникативным разумом, опирающимся на визуальный образ. Этот же последний воспринимает себя как некое самодостаточное и эмансипационное начало, несущее освобождение от системы общеобязательных ориентиров (идеологий, принципов и т.д.).

Это, однако, не означает реальное освобождение от идеологии, ибо, если следовать концепции К. Гирца,¹³ идеология имеет метафорический характер, а что, как не наглядность, может способствовать воплощению этой метафоры. В этом смысле сама культура западного мира, пропитанная визуальностью, оказывается нагруженной имманентной идеологичностью. Правда, эта идеологичность меняет свой цвет: ведь текст, как правило, имеет черно-белый характер (здесь можно отметить сходство с черно-белым характером идеологии), а образ может быть какого угодно цвета.

2. Надо снова указать на феномен постсоветского платонизма, отчетливо проявившегося в годы перестройки в массовом общественном сознании. В качестве примеров можно привести характерные стратегии отношения к будущему и прошлому. С одной стороны, обнаружилось нежелание выработать модель будущего — как национальную, так и собственную, так как брались уже готовые модели западного общества — рыночного хозяйства, политической системы, образования, досуга и т.д. И неважно, как именно шло приспособление этой модели к России, с какими модификациями — образец будущего был жестко задан. В этом смысле оказалось, что будущего у России нет — ибо оно уже воплощено на «Западе», и остается только перенять его. Инерция советского массового мечтания была резко прервана, что не осталось без травмирующих социальных и психологических последствий. Что

касается прошлого, то констатация «золотого века» — «России, которую мы потеряли...» — плавно переходила в требования самых разнообразных «Возрождений» — лозунга самого по себе крайне консервативного и опять же настаивавшего на оживлении того, что было раньше, а не на самостоятельном, ответственном, рискованном социальном строительстве.

Эту линию можно продолжить и дальше. Здесь обнаруживается удивительный парадокс: на данном историческом этапе восприятие уже готовых сущностей — только уже не идей, а товаров и образов — приводит к тому, что платонизм массового общественного сознания оказывается совместимым с рыночным хозяйством. Он обеспечивает возможность заимствований с любой стороны и в любой форме. Тогда культурная и лингвистическая импотенция «новых русских» в виде некритического заимствования образов поведения и англицизмов объясняется не только их индивидуально-биографическими особенностями, но и наличием культурной традиции в виде платонизма. А всемирная отзывчивость русского народа предстает в аспекте данного анализа как неспособность выработки собственной точки зрения и отстаивания уже сложившихся национальных культурных традиций...

3. Новая мера соотношения вербальности и визуальности является характерным признаком современного этапа формирования постсоветской культуры. В этом пункте произошло совпадение региональной постсоветской тенденции с глобальной тенденцией к визуализации, распространившейся гораздо раньше в рамках западной цивилизации. Поэтому следует говорить не только о влиянии процессов глобализации на советское и постсоветское общество, но и о наличии именно региональных причин и мотивов, обуславливающих появление тех или иных социальных феноменов. Так что многие упреки, предъявляемые ныне к глобализации, должны быть сняты в ходе более глубокого изучения современного российского общества.

4. Наблюдаемая тенденция нарастания визуализации культуры¹⁴ с точки зрения предшествующей парадигмы означает некое «уплощение» и упрощение разума, нарастание «поверхностности», которое можно конкретизировать и как исчезновение механизмов рефлексивности, выработанных при восприятии письменных текстов... Тогда получается, что общеизвестный факт институционального упрощения общества в ходе серьезной социальной революции (трансформации) сопровождается параллельными процессами в сфере массового сознания, которые могут быть охарактеризованы как нарастание влияния визуальной культуры. В этом, с точки зрения жрецов «письменного разума», заключается трагизм эволюции разума. Однако является ли такая пессимистическая оценка справедливой, может показать лишь дальнейшее развитие общества.

Если же подходить к данному процессу не столь эмоционально, то конструктивное разрешение проблемы будет состоять, в частности, в поиске новых вариантов функционирования разума. Если любой письменный текст опосредуется устным дискурсом, то последний — в виде самых разнообразных форм устной коммуникации — может стать тем мостиком, который позволит сохранить некую преемственность в развитии культуры.

5. Говоря о данной проблеме применительно, например, к сфере преподавания философии, можно предположить, что существующая тенденция визуализации означает, в далекой перспективе, и отрицание философствования с помощью письменных

текстов. Философия в картинках возможна и полезна, но сможет ли она заменить прежние формы философствования, в частности, через чтение и обсуждение письменного текста? Не означает ли смерть метафизики исчезновение философствования в традиционных формах? Университеты и другие социальные институты, связанные с хранением и воспроизводством письменных текстов, все более превращаются в культурные гетто, границы которых — как символические, так и материальные, — приходится охранять все более строго. Визуальное же образование — стихийное, на основе примитивной визуальной грамотности, и институционализированное — становится не только вызовом для современного университета, но и — за его стенами — способом коллективной и личностной самоидентификации, все более весомым статусным признаком. Можно предположить — в духе Ч. Сноу — конфликтное сосуществование двух типов культуры в постсоветском обществе — визуальной и письменной, по отношению к которым со стороны интеллектуального сообщества еще не выработано определенной культурно-политической стратегии.

6. Происходит слом матриц социального доверия, сложившихся в советском обществе. Доверие к культурным ценностям и социальным институтам, опосредованное в советское время письменными текстами, в результате идеологического слома конца 1980-начала 1990-х гг. значительно снизилось. Можно сказать и иначе: дедуктивное доверие к письму вообще и через него — к социальной реальности сменяется индуктивным доверием к какой-либо ситуации или личности и только в рамках этого межличностного доверия текст сохраняет еще свою роль.

7. Предпринятое в данном сообщении противопоставление вербального и визуального является, в определенной степени, спекулятивной операцией. Галактика Гутенберга не должна противопоставляться Галактике Интернета, Масяня не должна вытеснить А.П. Чехова. Необходимо поиск новых форм сочетания визуальной и письменной культуры — и это может стать одной из интересных и сложных задач для российской философии и социологии в XXI веке.

Примечания

¹ См., например: Добренко Е. Формовка советского читателя: социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. СПб, 1997; Гудков Л., Дубин Б. Литература как социальный институт. М., 1994. У Клауса Хёпке, министра культуры ГДР, можно было найти примечательное высказывание: «Там, где в упадке культура чтения, приходит в упадок культура в целом» // Хёпке К. Жизненные ценности и наши книги. М., 1988, с.61.

² Бабенко Л.Г., Васильев И.Е., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Екатеринбург, 2000.

³ Жинкин Н.И. Развитие письменной речи у учащихся 3-7 классов // Известия АПН РСФСР, 1956, № 78, с. 17. Я специально привожу данное высказывание, ибо оно кажется мне очень характерным для определенного понимания природы письменного текста, когда научная позиция автора сознательно или бессознательно совпадает с господствующей идеологической установкой.

⁴ Даже если утверждалось, что индивидуальность автора способствует развитию индивидуальности читателя, то все равно позиция последнего оказывалась вторичной и подчиненной. Отсюда становится более понятной тяга советских интеллектуалов к диалогизму

М.М. Бахтина и оценка М.Л. Гаспаровым концепции диалога как «бунта самоутверждающегося читателя». См.: Гаспаров М.Л. М.М. Бахтин в русской культуре XX века // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979, с. 11-14

⁵ См., например, о роли «писем трудящихся» как документов эпохи: Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи (голоса из хора). М., 1996. См. также: Лахусен Т. Как жизнь читает книгу: массовая культура и дискурс читателя в позднем социализме // Соцреалистический канон. СПб., 2000, с. 609-624.

⁶ Данное утверждение преднамеренно сформулировано столь сильно с целью подчеркивания нашей позиции. Реальная же ситуация является гораздо более сложной хотя бы в том смысле, что в социалистической культуре, а особенно во внутренней политике, нет устоявшегося прошлого — и каждый следующий съезд КПСС мог задать совсем иные рамки интерпретации прошлого, чем это было принято раньше. Поэтому, с одной стороны, роль настоящего времени при ориентации в социальной (и политической) жизни возрастала. С другой стороны, трудность осуществления личных планов многих индивидов в силу тотальности дефицита заставляла переносить все в будущее и потому «настоящая» жизнь концентрировалась в прошлом и будущем, а настоящее носило эфемерный характер.

⁷ Подобным углом зрения философии Платона мы обязаны Эрнсту Блоху. См.: Блох Э. Тюбингенское введение в философию. Екатеринбург, 1977, сс. 97-98, 238. Пафос критики Э. Блохом Платона сопоставим здесь с пафосом критики М. Хоркхаймером и Т. Адорно философии Просвещения. Нас платонизм интересует только в данном узком аспекте.

⁸ А.М. Панченко связывает обожествление алфавита и письменного текста с традицией, идущей от Платона, когда алфавит понимался как модель универсума, а текст был проекцией божественной истины на землю // Панченко А.М. О русской истории и культуре. СПб., 2000, с. 119-123. Там же (с.216-225) см. об отношениях русского человека с книгой и об иерархии книг в средневековой Руси. Проблема платонизма в русской культуре разрабатывается, как правило, только по отношению к досоциалистическому (т.е. до 1917 г.) периоду: как известно, А.Ф. Лосев исследовал, в частности, соотношение православия и платонизма. И, наоборот, о нехватке в русской традиции Аристотеля см.: Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996, с.319-329. Если допустить существование платонистских тенденций в массовом сознании, тогда можно охарактеризовать культуру советского общества в рассматриваемом аспекте как своеобразный симбиоз идеологизма, сциентизма и платонизма.

⁹ Концептуально это ярко выражено у З. Паперного в его характеристике так называемой «культуры 2». См.: Паперный З. Культура Два. М., 1996, с. 219-238. Что касается изобразительного искусства, то его исследователи неоднократно фиксировали данную ситуацию. Например, Е. Деготь считает, что «изображение в соцреализме не обладает самостоятельным бытием и полнотой, его предел — это плакат!» / Деготь Е. Искусство между букв // Личное дело №. М., 1991, с.92: А.А. Ерофеев отмечает: «Все «неофициальное искусство», в том числе и его абстрактное направление, очень нарративно» / Ерофеев А. «Неофициальное искусство». Художники 60-х годов // Вопросы искусствознания. 1993, №4, с. 195.

¹⁰ Речь идет, в частности, о герменевтической способности правильно идентифицировать различные

знаки и события политической жизни. Если показывают балет «Лебединое озеро» П.И. Чайковского по телевидению с утра до вечера — значит, кто-то из высших партократов умер; в некоем населенном пункте стали ремонтировать дороги или завезли продукты в магазины — значит, ожидается прибытие высокопоставленной персоны; если изменяется последовательность, в какой на демонстрации несли портреты вождей — значит, возможны какие-то перестановки в правительстве и в ЦК КПСС. Поиски зашифрованных знаков и символов на школьных тетрадах, в театральных декорациях, в архитектуре и живописи являются с 1930-х гг. излюбленным занятием части населения, сделавшей политическую герменевтику своим хобби и смыслом жизни.

-Здесь важно подчеркнуть не столько литературоцентризм русско-советской культуры, и не то, что «текст... представляет собой зону зафиксированных властных отношений, функций

господства и подчинения...» / Берг М. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. М., 2000, с. 185., сколько то, что гносеологические структуры чтения и идеологической идентификации совпадают.

¹² Эко У. «От Интернета к Гутенбергу» // Новое литературное обозрение, №32(4/ 1998), с.8. О соотношении вербального и визуального см. также: Essential McLuhan, Ed. by Eric McEuhun and Frank Zigrone, 1995, p.302-313.

¹³ Гириц К. Идеология как культурная система // Новое литературное обозрение, 1998, № 29, с.7-38.

¹⁴ Разумеется, сам феномен мышления обладает многочисленными свойствами, в том числе и визуальностью. См. об этом: Жукоцкий В.И., Пивоваров Д.В., Рахматулин Р.Ю. Визуальное мышление в структуре научного познания. Красноярск, 1988.

ЧЕЛОВЕК В ИНФОРМАЦИОННО- ТЕХНИЧЕСКОМ МИРЕ

К.С. Романова



Романова Кира Степановна — кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН.

Вся история антропогенеза — это история социального, история образования человека мыслью и трудом. Превращение биологического в социальное (начиная от чувств и кончая осознанием смысла жизни) происходит в историческом плане на базе информационного развития, впрочем, как и возникновение самой жизни.

Отражение как фундаментальное свойство материи есть активное взаимодействие с окружающей средой, которое предполагает способность отображать в своём внутреннем состоянии свойства других тел

или среды в целом. Высшими формами отражения являются сознание и познание.

Для раскрытия «механизма» процесса отражения существенно важны понятия информации и сигнала. Информация в философской интерпретации связана с проблемой сознания. Объективно-идеалистическая концепция информации характерна для неопозитивизма, где утверждается трансцендентная, сверхъестественная природа информации. В неопозитивизме и экзистенциализме информация рассматривается как субъективный феномен. Последовательно материалистическая, опирающаяся на данные современной науки, трактовка природы информации развивается в диалектическом материализме, исходящем из первичности материальной информации по отношению к идеальной и глубокой связи информации с отражением.

В научной литературе данного философского направления сложились две основные концепции информации: 1) как форма отражения, связанная с самоуправляемыми системами; 2) как аспект, сторона отражения, которая может передаваться, объективироваться. Наиболее распространенным (но не общепризнанным) является определение информации на основе категории разнообразия (развитое английским кибернетиком и биологом У.Эшби) и категории отражения как фундаментального свойства материи, впервые предложенного и обоснованного философами-марксистами. Однако не существует единого общепринятого понятия информации. Порождает дискуссии вопрос о предметной области понятия «информация» (является ли она свойством всех материальных объектов или только живых и самоуправляющихся, или же только сознательных существ). По этому поводу до сих пор в науке идут дискуссии.

Способ существования человека в историческом плане определяется отношением человек — орудие — техника. Как результат исторического развития практической деятельности человека современный